

Вдыхая время и пространство



Содержание цикла:

Жанна Свет 7

Елена Моргунова 29

Инна Порядина 53

Александр Баргман 59

Мария Лебеденко 86

Ольга Савельева и Злата Гончарова 99

Александр Перчиков 140

Жанна Свет

Израиль, г. Йерухам



Дипломант Международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира». Публикации: авторский сборник «Последнего выпуска не будет» («Геликон-плюс»), рассказ «Пляжные разговоры» в сборнике сетевой прозы «Скажи! ЖЖ out» (издательство «АСТ»), рассказ «Летний семестр» в сборнике «Стражи последнего неба» (издательство «Текст»), публикации в журналах «Сибирские огни», «Артикль» и «Млечный Путь».

Из интервью с автором:

*По образованию я инженер, но, живя в СССР,
много лет преподавала физику.
Сейчас я на пенсии.*

Золотое свечение. Маленькая повесть в разрозненных воспоминаниях

*Как странны прихоти воспоминаний!
Воспоминанья не закажешь по меню,
Не выберешь, которое желанней,
Чтоб приурочить к выбранному дню.*

*Попробуй упрекни их за неверность!
Попробуй им устрой переучет!
Они внезапно выплывают на поверхность,
И время их по-своему течет...*

Григорий Глазов

1. Золотое свечение

Мальчик заснул и лежал теперь раскинувшись — загорелый кудрявый ангелочек.

Она чмокнула бабушку в щеку и выбежала в зной: за пару свободных часов вполне можно было успеть на пляж.

Уже половина лета прошла, а она еще и не купалась толком, хотя водила сына на море каждое утро. Но во время этих походов она всецело была занята ребенком, и на себя у нее времени просто не оставалось, хорошо, что бабушка сама предложила ей посидеть с малышом, пока тот спит.

Кто-то окликнул ее по имени, она оглянулась и увидела его — когда-то они жили в соседних подъездах и учились в одной школе, правда, он был года на два или три старше.

Злой подросток, она страшно его дразнила, тем более что знала — она ему нравится. Его беспомощность перед ней только раззадоривала, и она еще беспощаднее издевалась над ним, а он лишь смотрел на нее своими темными глазами и ничего не предпринимал — не мог.

А она не могла понять, зачем дразнила: ведь стоило ей от него отвернуться, как она о нем тут же забывала — настолько он не задевал ее существа.

Был он очень крупный, как и вся их семья, а она — пигалица, тощая и нескладная, и никто не понимал, почему он позволяет ей так над собой измываться.

Вскоре ее семья переехала на другую квартиру, еще пару раз она его встречала в городе, а потом уехала в Москву учиться, и больше они не виделись.

Он стоял перед ней и откровенно рассматривал ее всю, а она, в своем невозможном бикини, злилась, что он так и не научился себя вести, глаза ее, как тот сопляк, что не умел дать ей отпор.

Она уже ответила на все его вопросы: где живет да как живет — и с неудовольствием подумала, что, вот ведь, черт, придется теперь уйти домой, хотя она вполне успела бы еще раз искупаться, нужно же было его так некстати встретить!

Она взяла с лежака свой халатик, вынула из кармана темные очки и словно бы сразу отгородилась стеной от его взглядов и слов.

Отряхнув песок, сунула ноги в резиновые «лягушки», помахала ему рукой и пошла прочь от пляжа, держа халатик на плече и расчесывая спутавшиеся волосы круглой гребенкой, которой потом их заколола.

Она думала о том, что это странно: ему уже около тридцати, а он не женат, какой-то в нем есть изъяс, не иначе. Неужели бабы не клюют на него — такого здоровенного и, в общем, вполне ничего себе мужика?! Что-то в нем не так, это ясно. Еще она думала, что, видимо, придется все же от дневного купания отказаться: с него станет поджидать ее на пляже, а ей это совершенно не нужно. В общем, план ее провалился, вот ведь досада!

Он смотрел ей вслед, как она идет в этом своем невозможном бикини, загорелая, похожая на зрелый персик. Кажется, тронь ее — потечет сладкий сок, даже странно было, почему над ее головой не выются пчелы и осы-сладкоежки. И эти волосы длинные, а раньше-то все под пацана стриглась, да и похожа была на пацана — тощая, узкобедрая, безгрудая.

Когда она, издразнив его в пух и прах, теряла к нему всяческий интерес, отворачивалась и с лязгом уносилась на раздолбанных роликах — в узких брючках из хлопчатобумажной серой ткани в узкую полоску, в бумажном же дешевом свитерке с коротковатыми, растянутыми на локтях рукавами, — девочкой она не выглядела ни одной секунды. А он оставался на месте и смотрел ей вслед, вечно он смотрит ей вслед, вот и сейчас смотрит, как она уходит, вся в золотом свечении зноя, окутанная зноем, как коконом, в который ему не проникнуть никогда.

Он с досадой бросился в воду и яростно поплыл от берега, твердя на каждом гребке:

— Черт, черт, черт!

— Эй, парень, — донесся до него усиленный мегафоном голос спасателя, — не заплывай за буйки, оштрафуем!

— Черт, черт, черт! — повторял он, не слушая. — Черт, черт.

2. «Техас»

Впервые она его увидела зимой во время студенческих каникул. Старшая подруга любила всюду водить ее за собой — вот и привела в свою взрослую компанию, где все уже или работали, или были студентами.

Взрослые друзья подруги не вполне понимали присутствие среди них этой малолетки, тощей, стриженной под пацана замухрышки, но как-то с этим фактом мирились, а приезжий гость, московский студент, даже пригласил ее на медленный танец.

Она лишь потому и пошла танцевать с ним, что совсем уж идиотизмом было сидеть одной за столом, хорошо хоть верхний свет выключили, и это давало ей некоторую надежду, что студент не рассмотрит ее ветхую старую юбочку, простые чулки и кофточку с растянутым воротом и манжетами. Кто ж знал, что сюда внезапно завалятся ребята и столичного гостя с собой приведут?!

Во время второго танца они со студентом уже всюю целовались за кадкой с китайской розой, и это было впервые в ее жизни, как и последующее прохождение домой через мокрый, продуваемый шальным ветром город.

Наутро пришлось что-то врать маме о синяке на губе, а в понедельник в школе она была так рассеянна и так явно витала где-то далеко, что все это заметили и поддразнивали ее, а она только улыбалась туманно.

Во вторник, сидя в очереди к зубному врачу, она увидела студента: он с улыбкой смотрел на нее и делал губами такие движения, словно целовал.

И опять было прохождение, город был все такой же мокрый, все такой же шальной свежий ветер продувал его насквозь и, казалось, продувал ее душу, все ее существо, отчего она становилась какой-то другой, но какой, она не знала — ведь все происходило

впервые, никогда еще с ней не случилось так много разных вещей впервые.

Впервые же она получила приглашение на свидание и мыкалась дома в полной уверенности, что оно не состоится, потому что ведь ни один здравомыслящий человек не выйдет из дома в эту мокреть и этот ветер.

У нее даже зуб разболелся на нервной почве, но тут из детского сада явился младший брат, сообщил, что в подъезде стоит какой-то дядька, который спрашивает ее, и зубная боль тут же прошла, не раскочегарившись в полную силу.

В кино он держал ее за руку, отчего она слегка оглохла и несколько одеревенела, но фильмом, как ни странно, запомнила, а потом всю жизнь у нее слегка ныло сердце, когда его в очередной раз показывали по телевизору.

На обратном пути они опять целовались, ветер закручивал вокруг них водяную мельчайшую пыль, которая одновременно размывала свет фонарей, делала его иглисто-лучистым, по какой причине картина ночи была смазана и золотисто светилась.

Каникулы закончились, студент уехал, она стала получать из Москвы письма, которые ее разочаровали своей нескладной обыденностью. Они совершенно ясно давали понять, что писать ему не о чем, но в конце каждого коротенького — страничка-полторы, не больше — послания обязательно было написано слово «целую», что заставляло ее обмирать и перечитывать эти образчики отсутствия эпистолярного дара и культуры опять и опять.

Мама и папа ее, видя, что почтовый роман никак не сказывается на учебе, не обращали на него внимания, поэтому зима и весна прошли вполне спокойно, а летом оказалось, что студент взял академический отпуск и вернулся к родителям.

Они встречались у него дома.

Она переходила широкую улицу, а потом по более узкой и тихой доходила до границы района частных домов.

Район этот почему-то получил в народе название «Техас», чем молодые его обитатели страшно гордились и держались всегда с необыкновенным апломбом и достоинством.

Поперек улицы белой масляной краской было крупно написано: «Техас», а через минуту-другую она уже шла по асфальтированной дорожке к его дому.

Ее любимые желто-красные розы равнодушно точили аромат в неподвижный воздух южного вечера, а свекольно-белые георгины следили за ней своими раскосыми глазами, и их лепестки были указующими стрелками на карте ее любви.

Студент встречал ее на пороге своей комнаты, имевшей отдельный вход, но вечер пролетал непростительно быстро.

Потом студент устроился на работу и студентом быть перестал, а вот она все еще оставалась школьницей, о чем ей строго и решительно напомнила наступившая осень.

Все реже переступала она надпись «Техас», все реже видела студента, а когда в город вернулись свежие мокрые ветры, он и во все пропал, о нем не было ни слуху ни духу до самого того дня, когда подруга рассказала ей о его свадьбе.

Ей и жену его показали — крупную некрасивую молодую женщину, нагруженную сумками с покупками, идущую ей навстречу по центральной улице города.

Она стояла посреди тротуара совершенно одна. Казалось, ветер выдул всех людей не только с улицы, но и из города, а может быть, из всего мира, тот самый ветер, который всего полгода назад принес ей прямо в руки подарок, теперь же, по какому-то странному капризу, вырвал его у нее, чтобы отдать другой.

Прошли еще полгода, заполненные грустью, болезнями, школой, тревогами родителей, теперь она сама уже была московской студенткой и с переменным успехом вышибала клин клином.

Шли годы.

Летели ветры.

Менялись страны, мелькали города, она побывала во многих местах.

Она навещала родителей чаще всего летом, поэтому больше никогда не встречалась с тем шальным мокрым ветром, что продувал город ее юности.

И никогда больше не переходила она шумную улицу с целью пройти по более узкой и тихой до вольготно развалившейся на мостовой надписи «Техас».

Ей не было нужды идти туда: эта надпись пересекла ее сознание, как пересекает проезжую часть надпись «Stop».

3. Велосипед в сумерках

Он был ужасно рыжим и, конечно же, стеснялся этого. Вообще же у рыжих тяжелая жизнь, дразнят их все, слишком они всегда видны, не спрятаться.

Она его не дразнила, ей, скорее, даже нравилось, что он такой рыжий, но он и ее стеснялся все равно, такой уж, наверное, был у него характер.

Хотя, конечно, он мог ее стесняться еще и потому, что она ему нравилась и знала об этом — вот это могло его связывать по рукам и ногам, но она и виду не подавала, что догадывается о его чувствах.

Познакомил их ее сосед, муж старшей сестры рыжего мальчика. Мальчик жил в городе и приезжал навещать свою взрослую сестру, муж которой и показал ему тощую пацанку, носившуюся по городку исключительно на лязгающих старых роликах и безумно этим всему городку надоевшую.

После того, как мальчик увидел ее — сначала на роликах, а потом с живым ужом на шее (она шла на пляж, и компания мальчишек почтительным эскортом окружала ее, впрочем, не вплотную, на расстоянии), — участь его была решена.

В их городок он приезжал нечасто, она не знала, вспоминает ли он о ней в промежутках между приездами, но всегда бывала ему смущенно рада.

Муж сестры, познакомивший их, ездил на работу на большом черном велосипеде, и однажды вечером он позволил мальчику покатать ее.

У нее самой велосипеда никогда не было, ездить она умела, но очень плохо, поэтому за возможность прокатиться ухватилась с радостью, только вот не учла, что, сев на раму перед рулем, окажется как бы в объятиях рыжего, что сразу же заморозило их обоих: он, видимо, тоже этого не учел.

Муж сестры рыжего страшно веселился, глядя на них, поэтому мальчик поспешил скорее уехать из двора, и вот они почти бесшумно, только с легким шорохом, понеслись по пустой улице в наступающих южных сумерках.

Вдали от посторонних глаз стало проще и спокойнее, но все равно она очень остро чувствовала его близость, тем более что он несколько раз как-то странно ткнулся лицом в ее коротко стриженные волосы.

Они молчали, велосипед летел, вокруг было тихо: троллейбус еще по этой улице не ходил, жилых домов на ней было немного, а рабочий день в НИИ уже закончился, вся улица принадлежала им одним.

Это беззвучное движение зачаровало их, рыжий все накручивал и накручивал круги вокруг квартала, выбирая самые безлюдные места, и постепенно в ее душе тоже началось кружение, так что она уже больше ничего и не чувствовала, кроме него, кроме этого полета, тишины и отрешенности от всего мира, который был где-то, но где-то далеко.

Потом рыжий в каждый свой приезд катал ее, всегда в сумерках, всегда молча, а однажды после катания достал из кармана коббойки почтовый конверт и отдал его ей. Она поняла, что это — подарок.

Дома она раскрыла конверт и обомлела: он был набит китайскими марками, а ведь у нее ни одной такой пока еще не было. И как это он запомнил, что она марки собирает — это было удивительно. Она, правда, была смущена и пыталась объяснить рыжему, что ему за эти марки может дома влететь, но он и слышать ничего не хотел, и все эти мао-цзэдуны, пагоды, цветущие ветки, ГЭС и люди в национальных костюмах перешли в полное ее распоряжение, став предметом острой зависти всех мальчишек, мнивших себя, как и она, филателистами.

Они катались еще два или три, а потом сестра рыжего ушла от своего мужа и вернулась к родителям, рыжему больше не зачем было приезжать в их двор, но сказать дома, что поедет в другой город на электричке, чтобы увидеться с какой-то девчонкой, он, конечно, не мог. Да и где бы он взял теперь велосипед?

Никто больше ее на велосипеде не катал.

Коллекцию марок у нее через год украли в школе, когда она принесла альбом, чтобы меняться: классера у нее не было, отложить двойники было некуда, приходилось рисковать, и, конечно же, это должно было когда-нибудь плохо кончиться.

Дома ей за марки сильно влетело, в результате чего она остыла и к филателии, и к друзьям-филателистам, а там и другие увлечения пришли к ней в свой черед.

Рыжего она больше не видела никогда.

Правда, иногда случались такие сумерки, что она невольно ждала: вот-вот вылетит ей навстречу большой черный велосипед, на котором будут сидеть двое детей — рыженький мальчик лет пят-

надцати и мальчишеского вида девочка годом младше — и полетят в тишине и молчании, зачарованные этой тишиной и полетом.

И девочка будет смотреть в сгущающуюся темноту широко раскрытыми глазами, а мальчик будет тихонько целовать ее коротко остриженные волосы.

4. Акация

Школьный звонок огласил своим дребезжаньем самый разгар лучезарного майского дня, уроки закончились, можно было идти домой.

Весь путь до дома пролегал по двум улицам, засаженным высоченными акациями, которые именно сейчас всюду цвели и заполняли своим парфюмерно-кондитерским ароматом все окружающее пространство.

Летний зной еще не обрушился на город, еще не сжал его в лихорадочных душных объятиях, и потому пройти под акациями было очень приятно.

Легчайший ветер слегка касался ее щек и тонкой шеи, обрамленной кружевом форменного воротничка, чуть ерошил коротко остриженные волосы — она просто плыла в этом блаженном тепле, насвистывая тихонько какой-то мотивчик и помахивая синим портфельчиком в такт этому мотивчику.

Впереди нее шли двое пацанов из параллельного класса, живших где-то в тех же краях, что и она. Пару раз они оглянулись на нее, но ее блаженно-отсутствующий вид ясно говорил, что она их не видит, они оглядываться перестали, сблизили головы на ходу, о чем-то тихонько переговорили между собой, а потом, как по команде, куда-то свернули.

Но и этот их маневр остался незамеченным, она продолжала идти, как шла, нога за ногу, не торопясь и ничего не замечая вокруг себя.

Ветер, гладивший ее щеки, шевелил и будоражил листья акаций, сбивал уже отцветшие сухие цветочки, которые с легким шорохом все сыпались и сыпались с деревьев и собирались кучками в трещинах и неровностях асфальта.

По стенам домов и тротуару плясали тени листвы и солнечные пятна, их мешанина образовывала сияющую теплую сеть, в которую вплетались запах акации и шорох опадающих цветов.

В эту сеть были пойманы все улицы, весь город, и она шла, всей собой ощущая, как и ее обволакивают свет, тепло, запахи, звуки, тени.

Мальчишки вдруг вывернули из-за угла и загородили ей дорогу. Попытка обойти неожиданное препятствие оказалась безуспешной, это вывело ее из транса, и она непонимающе уставилась на них своими темными, в темных ресницах, глазами.

Они стояли перед ней угрюмо, каждый держал одну руку за спиной, и, казалось, ничего не собирались препринимать.

Но вдруг они одновременно протянули руки вперед, и она увидела перед собой две ветки акации с пышными свежими сладко пахнущими гроздьями.

Мгновение смотрела она на эти ветки, потом вскинула на мальчишек короткий взгляд, убедилась, что они по-прежнему мрачны и смотрят серьезно, зажала портфель между коленями, обеими руками взяла подарок, окунула лицо в белые цветы и замерла, вдыхая их сладость и свежесть.

Пацаны продолжали стоять перед ней все с тем же сумрачным видом, и невозможно было понять, осознали они, что подарок их принят, или нет.

Она оторвалась от цветов, опять посмотрела на приятелей, удобнее перехватила ветки левой рукой, в правую взяла портфель, сказала спокойно и доброжелательно: «Спасибо, мальчики», — без всякого затруднения обогнула их и пошла, как и шла — нога за ногу, — домой.

Пацаны развернулись и пошли за ней, не отставая, но и не забегая вперед.

Улица, город и, видимо, весь мир были заполнены и пронизаны нежнейшей золотой смесью весны, солнца, юга, ожидания лета.

Они шли сквозь это золотое свечение, которое — и это было абсолютно ясно — не погаснет никогда.

5. «Саммер тааааайм...»

Девочка принесла из кухни два блюда и поставила их на застеленную газетой табуретку. На одном блюде лежал бутерброд с ветчиной, на другом светился блестящей верхней корочкой ромбик пахлавы.

Табуретку девочка придвинула к дивану и выключила верхний свет.

Теперь комната освещалась только разноцветными огнями елочной гирлянды и поэтому казалась девочке очень нарядной и немного таинственной.

Возле дивана на небольшой тумбочке, застеленной скатертью с вышитыми на ней маками, стояла радиолка «Латвия».

Девочка щелкнула переключателем, и приемник благодарно уставился на нее своим горящим зеленым кошачьим глазом. Глаз пульсировал и казался совершенно живым.

Повинуясь ползущему по шкале движку, радиолка засвистела, засвиристела, что-то хрипло выкрикнула, взвыла, забормотала на инопланетных языках — пространство ворвалось в комнату и пыталось внушить что-то девочке, терпеливо крутившей ручку настройки.

Но оно не успело: сквозь его завывания и хрип пробилась мелодия, окрепла, заглушила шум.

Чистые голоса саксофонов, дребезжание банджо, фортепьянные аккорды, кваканье труб, дробь барабанов — девочка была довольна.

Она забралась с ногами на диван и оглядела свои владения.

Комната была убрана к празднику — вымыты полы, разложены по местам вещи, хлам повседневной жизни растыран по незаметным местам. Темнота скрывала нищий достаток комнаты, а огни елки придавали ей уют и благообразность, которых она была лишена при свете.

В темной, почти черной хвое елки то и дело вспыхивали тусклые отблески игрушек, слегка позванивавших при едва заметных сотрясениях пола, когда мимо дома презжал троллейбус.

Тихий нежный перезвон игрушек в темной комнате, освещаемой лишь слабыми разноцветными огоньками елки, желтым свечением шкалы радиоприемника и зеленым маяком его глаза, казался девочке олицетворением любимого праздника, который она — вот удача! — впервые, пусть и с опозданием на два дня, отмечала одна.

Она сидела в темной комнате, где светилась и звенела елка, а в радиолке труба выпевала отчетливо: «Туру-тутуру турутуту-туту...».

Девочка знала эту мелодию и стала подпевать трубе: «Изаба-читальня, сто второй этаж, там кучка негров лабают стильный

джаз... — и опять вступала труба, — турутуру-ру, турутуру-ру, турутуру, турутуру, ру».

Девочка грызла пахлаву и наслаждалась жизнью.

Ей редко доводилось оставаться дома одной, чуть ли не в первый раз это случилось сегодня, и она была в полном восторге от выпавшего такого счастливого случая: надо же — все ушли, а она осталась!

Дядя и тетя были званы в гости, бабушка повезла младших детей на праздничное представление в цирк, для девочки билета достать не смогли, и неожиданно вся квартира оказалась в полном ее распоряжении.

— Только никого не приводи, — строго сказала бабушка, надевая пальто, — убирай потом после вас.

Бабушка не понимала. Никто не понимал, да и не пытался понять, каким редким счастьем было одиночество — им следовало не делиться с кем бы то ни было, а наслаждаться самой, бережно и подробно.

И девочка изо всех сил старалась не упустить свой шанс: мелкими кусочками ела слишком дорогую для ее семьи, а потому редкую ветчину, столь же мелкие крошки отгрызала от пряной ореховой начинки пахлавы, смотрела на огни елки, тусклое свечение ее игрушек, вслушивалась в их слабый нежный перезвон и подпевала саксофону.

Он словно бы обволакивал ее своим звучанием, она купалась в его нежном, но мощном голосе, и ее маленькое сердце таяло и екало в теплом потоке музыки: «Саммер таааайм...».

Радиола то шурила, то вытаращивала свой зеленый глаз в такт мелодии — так шурился и вытаращивается лежащая на коленях кошка, когда чьи-нибудь пальцы теребят и перебирают ее теплую и мягкую шерсть.

Понимала.

6. Где начало того конца?

В тот год она окончила институт, получила на руки темно-синий диплом с гербом на обложке, сдала ключ от комнаты в общежитии, забрала оттуда вещи, но по распределению все никак не уезжала.

Жить ей было негде, она скиталась по знакомым. Вещи, упакованные в большие картонные коробки из-под яиц, были свалены в камере хранения рабочего общежития, где ее подруга работала воспитателем.

Подруга эта уехала в отпуск, жить в ее комнате было невозможно: у соседки, что ни вечер, собиралась пьяная компания, а разогнать ее было некому.

Пару ночей она провела в соседней квартире, где чуть не круглые сутки вопил дурниной младенец и не менее громко и противно пыталась уговорить его приехавшая из деревни бабка.

Уехать из Москвы было невозможно, немислимо.

Москва пропахла в ту весну арбузом: стригли газоны. Запах свежести сплетался в сложный узор с другими истинно московскими запахами — бензина, цветущей сирени, мокрых после дождя тополей, теплого ветра, дующего из вестибюлей метро.

Время, казалось, остановилось, а с ним остановилась, впала в оцепенение и она.

Насыщенная событиями и действиями жизнь так внезапно подошла к своему концу, что подготовиться к встрече с ним она просто не успела и повисла над пустым провалом, в который должно было ей кануть с отъездом из Москвы.

Она и раньше покидала город, но отлучки эти бывали кратковременными — каникулы, праздники — и всегда обещали возвращение, никогда не подразумевали вечной разлуки.

Теперь же отъезд становился фатальным, он означал, что назад дороги нет, что Москва будет утеряна навсегда, как только она купит билет на поезд.

Игры кончились — это было так понятно, так неправильно и несправедливо, что душа ее отказывалась признать окончательность положения дел, все рвалась назад, туда, где оставались относительная беззаботность, легкость, право жить бездумно, жить сегодняшним днем.

Уехать из Москвы означало выпасть из привычного измерения, из родного воздуха, из гнезда, из уютной, знакомой до мельчайших подробностей жизни.

Отъезд из Москвы означал наличие другой реальности, никак не пересекавшейся с той, откуда ее выдирали, с мясом и кровью, наступающая жизнь, не оставляя ей лазейки для возвращения, не даря средства для заживления ран.

В новой реальности, в незнакомом измерении ее не ждало ничего, кроме лямки повседневной работы, не обещавшей никакой отрады ни уму, ни сердцу.

Лямку учебы тоже приходилось тащить ежедневно и желательно без сбоев, но учеба окрыляла и приподнимала над действительностью, дарила некую неясную, но возвышенную цель, возбуждала; была, скорее, увлекательной интеллектуальной игрой, требовавшей азарта и сосредоточенности только на ней.

Теперь крылья эти опали, разлетелись в прах, а отъезд из Москвы доказывал, что они утеряны навсегда, что в провале другой реальности, разинувшем свой зев под ее ногами, ничего, кроме повседневности, и не будет, придется барахтаться в ней до конца жизни, имея одну лишь низменную цель — обеспечить свое существование, — позабыв о том душевном подъеме, который она испытывала все годы учебы.

Она ходила по Москве, ловила контрамарки и «лишние билеты» в театры, вдыхала запахи свежего хлеба и сдобы в булочной Филиппова, запах кофе в Чайном домике у Главпочтамта, запахи московского неба, московских берез, запах речной воды при катании на речном трамвайчике...

И цепенела все сильнее.

Все дальше уходила от нее Москва.

Она уже была чужой здесь, уже потеряла право на эти улицы, эти витрины, кресла в театральных залах, на запахи и звуки. Москва уже отринула ее, и она ходила туда и сюда воровато, чувствуя за собой какую-то вину, понимая, что пользуется чужим, не своим, краденым.

Москва уходила, отворачивалась, не помнила о ней.

Она цеплялась за эту уходящую громадину, не в силах поверить, что их роман пришел к завершению, как приходит к завершению любой роман на этом свете.

Душа ее цепенела от этого открытия.

И никак не хотела поверить в необратимость конца.

7. Цирк

В ту осень они с мамой жили вдвоем. И часть зимы тоже.

Бабушка уехала к своему младшему сыну, брату мамы, и забрала с собой младшего внука, брата девочки.

Жить вдвоем с мамой оказалось не очень весело, тем более что осень и зима были на редкость дождливые, в доме устойчиво держался сырой холод, печку мама топила только придя с работы, и девочка весь день проводила одна в неудобном одиночестве.

Она попробовала однажды самостоятельно разжечь огонь в печи, но только зря извела растопку, мама вечером очень ругалась.

Девочка вообще была плохо приспособлена к жизни без бабушки.

То она у керосинки не в ту сторону крутила колесико, и фитиль выпадал в резервуар с керосином, то задремывала, пока грелся обед, отчего гречневый суп превращался в кашу с вкраплениями подгоревшей картошки, ужасно соленую, и мама опять ругалась...

Пришлось идти на хитрость и не греть еду, а поедать жареную картошку холодной и запивать ее холодной водой. Ну, или заедать мандаринами: их всегда дома было много, целые ящики.

Правда, девочка нашла крупный плюс в отсутствии бабушки: можно было читать во время еды, главное — вовремя сунуть книгу в шкаф и не забыть запереть его застекленные дверцы, потому что к Мопассану и сказкам Шехерезады мама строго-настрого запретила прикасаться. Ключик, несмотря на запрет, тем не менее в дверце шкафа торчал постоянно, видимо, мама считала, что дочь не решится нарушить ее приказ — и как же, получается, она ошибалась!

Кроме ущербного быта и дождей осень ознаменовалась открытием цирка, что очень оживило культурную жизнь и города, и девочки.

Программа менялась каждые две недели, и каждые две недели мама водила дочь на представление.

Они встречались возле цирка, потому что приехать после работы домой мама не успевала: она работала в центре, до цирка ей было идти минут пять, не больше.

Они приходили одними из первых и видели, как униформа готовит арену — граблями разравнивает опилки или покрывает их ярко раскрашенными щитами, как проверяют лонжи и трапеции, как оркестр рассаживается по местам. Наконец раздавались первые аккорды марша и начинался парад-алле.

Девочка сидела тихо, держа на коленях пальто, смотрела на девушек-гимнасток, внутренне сжимаясь всякий раз, когда те, отпустив трапецию, летели к вытянутым рукам партнеров, висящих вниз головой.

Радостно хохотала навстречу облаку звонкого лая, с которым на арену вылетала орава мелких собачонок и начинала свои фортели: прыжки, сальто, танцы на задних лапках, катание в тележках мартышек, одетых в платьях и пиджачные пары.

Дрессированные медведи ей тоже нравились: они, казалось, с удовольствием ездили на велосипедах, роликовых коньках и самокатах, качались на качелях и танцевали в обнимку с дрессировщиком.

Так же радостно выглядели собаки побольше, игравшие в футбол и азартно гонявшиеся за воздушным шариком, служившим им мячом, покуда в пылу сражения кто-нибудь из них не прокусывал его.

Хороши были и наездники — особенно один из них произвел на девочку неизгладимое впечатление.

В отличие от целых банд джигитов, наполнявших здание цирка дикими вскриками, свистом и одобрительными хлопками, он работал один.

Был он высок и бледен, всегда одет в черное, и лошадь у него была вороная — с широкой спиной и сухой головой.

Стоя на спине своей лошади, он проделывал разные акробатические штуки, покуда она ровной рысью круг за кругом, ни разу не сбиваясь с ноги, все бежала и бежала вокруг арены.

В цирке гасили огни и, невидимый в темноте, человек в черном на черной лошади начинал жонглировать факелами и прыгать сквозь горящее кольцо, которое спускалось на канате из-под крыши цирка.

Девочка, затаив дыхание, следила за этой феерией и испытывала нечто вроде влюбленности в человека, приглаживавшего рукой светлые волосы, растрепавшиеся после поклонов.

Лошадь тоже кланялась, припадая на передние ноги, а затем они оба уходили за кулисы — тут и начинался антракт.

Публика побогаче шла в буфет, уходила и мама — выкурить папиросу в туалете.

Девочка жевала бутерброд с колбасой, который мама доставала из своей сумки, потом грызла яблоко, следила, как на арене вырастает клетка для тигров или львов, и думала о том, что лучше бы еще раз выступил фокусник, потому что в первом отделении она не успела увидеть, откуда берется аквариум с водой и кричаю-

щей уткой под красивым шелковым платком, которым фокусник накрыл совершенно пустой цилиндр, составленный из разноцветных колец, — он ведь сам его и составил, еще и руку в него просушил, чтобы показать, что цилиндр пуст.

Непонятно, как он это делал?!

И непонятно было пребывание на арене молодой женщины, полуодетой в струящийся шелк, которая абсолютно ничего не делала, только красиво ходила вокруг фокусника и показывала на него публике рукой, хотя публика и так смотрела на артиста во все глаза, пытаясь определить, в каком месте ее обманывают.

Музыкальные эксцентрики тоже нравились девочке, они смешно дули в тромбоны ноздрями, играли на скрипках, летая под куполом на лонжах или прыгая на батуте, — девочка завидовала их умению играть на разных инструментах и той легкости, с которой они балансировали то на бутылках, то на проволоке.

Женщину-змею она не любила, да и ту, что, лежа на спине, подкидывала ногами разные предметы, — тоже: обе они казались девочке скучными и непристойными одновременно.

Честно говоря, ее и акробатки смущали тоже. Ей казалось неприличным, что вся публика в цирке видит их трусы, плотно обтягивавшие увесистые зады, и она старательно отводила глаза от девушек, когда те с равнодушным видом лезли по веревочным лестницам на площадки, схожие с корабельными клотиками (девочка была начитана и полна аллюзий).

Она предпочла бы этим странным номерам что-нибудь менее двусмысленное, но только не дрессировщицу голубей: несмотря на ее пышное, как у феи, белое платье, номер оказался нудным до зевоты, каким-то приторным и излишне жеманным, собачки были лучше.

А однажды в программе участвовал человек, поднимавший тяжести, и он поднял целый грузовик, в кузове которого сидело пять или шесть человек!

Девочка в ужасе ждала, что у него сейчас «жила лопнет», как она прочла у Горького — про человека, поднявшего что-то слишком для него тяжелое и болевшего потом всю жизнь, — но все обошлось, силач отхватил свою порцию оваций, а девочка смогла перевести дух.

Господи, как ей нравились эти громадные полосатые кошки! Львы оставляли ее равнодушной, но тигры...

У них были такие рожи, что девочке хотелось иногда пролезть сквозь решетку и трепать огрызающихся зверей за уши и холки, чесать им подбородки, гладить и теребить.

Собственно, так и вела себя невысокая женщина в черном костюме и с хлыстом в руке.

Она переступала по опилкам арены ногами, обутыми в черные ботфорты, и была похожа на Аллу Ларионову из фильма «Двенадцатая ночь» — девочка ей очень завидовала!

Тигры огрызались, замахивались на свою госпожу лапами, но в целом их поведение не слишком отличалось от поведения кошки Читы, которая, хоть и любила лежать на коленях у девочки, когда та читала, сидя на низенькой скамеечке возле натопленной печки, все же держала ее в черном теле, спуску не давала, и у девочки вечно были расцарапаны руки — следствие ее неоправданно развязного поведения с маленькой самолюбивой хищницей.

Девочка хотела бы стать укротительницей, но знала, что этому не бывать: у нее не было «куража».

Об этом необходимом каждому дрессировщику качестве она вычитала в одной из многочисленных проглоченных ею книг, трезво оценила себя с этой точки зрения и поняла, что навсегда останется благодарным и восхищенным зрителем.

Лет через двадцать, правда, станет ясно, что интерес и восхищение перед дрессурой исчезли, а на смену им пришли жалость к бедолагам-тиграм и неприязнь к человеку, вынуждавшему их делать противостественные для зверей вещи, и тогда выросшая девочка с грустью поймет, что ее цирк исчез навсегда.

Но до этого дня еще нужно было дожить, а пока тянулась и тянулась хмурая осень, плесневел хлеб, листы учебников и тетрадей перестали шуршать, холодная картошка вызывала жажду и ощущение сиротства, мандарины не утоляли томления сердца, а в центре города, довольно далеко от дома, где девочка училась жизни в одиночестве, над зданием цирка каждый вечер вспыхивали зазывные огни.

Через две недели девочка опять пройдет под их сияющей аркой.

Через две недели в честь ее визита оркестр опять сыграет свой марш.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru